

М. ЦВЕТАЕВА В СВЕТЕ ЭССЕИСТИКИ И. БРОДСКОГО

Парадоксально, но такой ни на кого не похожий и, казалось бы, значительно удаленный от предшествующей поэтической традиции поэт как Бродский не избегал говорить о влияниях, а наоборот, ценил их чрезвычайно высоко. Не единожды с благодарностью он называл поэтов, способствовавших собственному поэтическому и личностному становлению.

И все-таки Марину Цветаеву в этом ряду Бродский выделял особо. В диалоге о Цветаевой, записанном Соломоном Волковым в 90-ом году, а также в трех адресованных ей статьях (“Поэт и проза”, “Об одном стихотворении”, “Предисловие к комментарию”) он восхищается ее поэтической силой, открыто признавая глубокое влияние на него личности и творчества поэтессы. Еще более определенно поэт высказывается о влиянии цветаяевской поэтики и мироощущения на свое творчество в интервью журналу “Paris Review”: “Благодаря Цветаевой изменилось не только мое представление о поэзии - изменился весь мой взгляд на мир, а это ведь и есть самое главное, да? С Цветаевой я чувствую особое родство: мне очень близка ее поэтика, ее стихотворная техника”.

В эссе о Цветаевой, скрыто полемизируя с рядом исследователей, Бродский предлагает новое, свободное от шаблонов творческое прочтение ее поэзии. В размышлениях автора явственно дает себя знать хорошая осведомленность в существующих литературоведческих оценках творчества поэтессы, а также в оценках коллег-писателей. Одного из “пунктов раздражения” – “высоты тембра”, именуемого в ряде критических высказываний “истерикой”, Бродский касается особо. Поэт соглашается с А.А. Ахматовой: “Марина часто начинает стихотворение с верхнего “до”. Но отрицательная характеристика в устах поэтессы трансформируется у него в восторженное одобрение. Истоки повышенной эмоциональности Цветаевой Бродский усматривает в трагичности самого “тембра голоса”, создающей “ощущение подъема при любой длительности звучания”, а также в высоте нравственных требований ко времени и к себе. Отвергая “земную правду”, Цветаева предлагает собственный противоположный вариант – “правду небесную”. Такая “кардинальная постановка вопроса... а ля Иов: или-или” также порождает интенсивность, которая ценится Бродским чрезвычайно высоко.

Другой объект скрытой полемики Бродского с исследователями – истоки трагического мироощущения, преломленного в стихах Цветаевой. Восстанавливая в своем восприятии художественную модель мира поэтес-

сы, Бродский в значительной мере абстрагируется от исторического контекста, биографии, психологического опыта поэтессы. Первичен, по его мнению, сам поэтический голос, изначально имеющий “трагический тембр”, в то время как биография, даже личность – все призвано “следовать за голосом”. По мысли Бродского, знаменательно отмежевание Цветаевой уже в юные годы себя, своей жизни от поэтического дара (“Моим стихам, написанным так рано, что и не знала я, что я – поэт...”).

Оценки Бродского творчества поэтессы масштабны. Своеобразие его подхода в том, что поэзию Цветаевой он рассматривает в контексте противопоставления всей русской поэзии и литературе в целом. В статьях о Цветаевой в процессе анализа Бродский отрывочно называет ряд отчуждающих поэтессу от “русской поэтической традиции” свойств. Постараемся перечислить их, приводя в некоторую систему.

Исключительность Цветаевой в контексте русской поэзии определена Бродским, прежде всего, ее “кальвинизмом”. Кальвинистом он считает человека, постоянно осуществляющего самосуд, предъявляющего к себе беспощадные нравственные требования. Кальвинизм сближает Цветаеву с Достоевским и обособляет ее в русской поэзии. Бродскому импонирует “этическая позиция”, которую занимала поэтесса независимо от смен режимов и исторических катаклизмов. В его интерпретации творчества Цветаевой заметно акцентирование универсальных, общечеловеческих ценностей.

Неприемлемость к реальной жизни, отчетливо звучащее в голосе поэтессы, по Бродскому, также ставит ее особняком в русской словесности. Русской литературной традиции всегда была присуща тенденция “утешительства, оправдания (по возможности, на самом высоком уровне) действительности и миропорядка”. Феномен Цветаевой Бродский связывает с ее категорическим отказом от существующей реальности, по стезе которого она “прошла дальше всех в русской и, похоже, мировой литературе”. (“Поэт и проза”)

Уникальность Цветаевой аргументируется и тем, что, привнося в русскую поэзию отсутствовавшую ранее в ней семантику, она создала адекватную этой семантике “новую фонетику”. По мысли Бродского, поэтессе удалось уловить трагедийность, заключенную в специфике самого языка. В результате ее неприятие действительности оказывается продиктованным “не только этикой, но и эстетикой”, самим строем и звуком русской речи.

Цветаеву, по Бродскому, дистанцирует от русских художников слова и ее исключительный лаконизм. Принцип исключения, который, по Бродскому, есть первооснова поэзии, в творчестве Цветаевой канонизирован. Опуская само собой разумеющееся, зачастую она заменяет его своим любимым тире, и тире это, утверждает Бродский, “многое зачеркивает в русской литературе”. (“Поэт и проза”)

Поэт отмечает предельную точность, приближенную к математической логику цветаевского творчества. Изображенное графически, оно явило бы собой “поднимающуюся под прямым углом прямую”, благодаря постоянно-му стремлению Цветаевой “взять нотой выше, идеей выше”. Бродский говорит о “разрушительном рационализме” цветаевских произведений и “сильно развитом аналитическом аппарате” автора. В силу этого свойства произведения оказываются за пределами русской поэтической традиции, приближаясь к традиции литературы немецкой или, в целом, западной.

Таким образом, исследуя цветаевские отношения с русской поэтической традицией, Бродский называет ряд качеств, отмежевывающих от нее поэтессу. Среди них – бескомпромиссность и некомфортабельность, “кальвинизм” и рационализм, лаконизм и точность. Тем не менее, представляя творчество Цветаевой “новостью для словесности”, Бродский не считает его таковой по отношению к “национальному сознанию”. Цветаевская семантика, выпадая из традиции русской словесности, в то же время содержит в себе то отражение “национального сознания”, которое в рамках русской литературы до нее еще не было возможно. Поэтому творчество Цветаевой расширяет представление о национальном. Разрывая нити, связующие Цветаеву с традициями русской литературы, Бродский многократно подчеркивает ее близость к фольклору и, в первую очередь, к традиции заговора и причитания.

Глубоко восхищаясь предметом исследования, Бродский выступает не только как подлинный ценитель изящной словесности и тот идеальный читатель, которого не доставало Цветаевой при жизни. Прежде всего, он – художник единого с ней склада, находивший в ее поэтическом мире родственное своему. Субъективность оценок всегда так или иначе предполагает присутствие личности автора. Говоря о Цветаевой, поэт затрагивает те аспекты ее творчества, которые были значимы непосредственно для него. Ничего явно не сопоставляя, самым фактом акцентирования тех или иных свойств он намечает многочисленные скрытые параллели между своей поэзией и цветаевской.